



М. М. КАРПОВИЧ

Комментарии. 1. «Цена революции»

Под таким заглавием вышла в конце прошлого года чрезвычайно интересная книга известного английского историка Брогана*. В ней сделана попытка определить — конечно, с весьма приближенной точностью, — во что обходятся человечеству революции нашего времени. При этом Броган имеет в виду не только социально-политическую революцию, но и другие: промышленную, национальную (включая антиимпериалистические движения в колониях), религиозную и, наконец, революцию в международных отношениях (т. е. главным образом превращение Соединенных Штатов в мировую державу).

О таком расширении темы можно, пожалуй, пожалеть. Прежде всего, потому, что каждая из этих «революций» могла бы явиться более чем достаточным предметом для отдельного обсуждения. В сравнительно небольшой по размерам книге (в ней меньше 300 стр.) автору пришлось быть весьма лаконичным. При своей огромной эрудиции и оригинальном уме Броган сумел высказать много очень интересных соображений по всем этим вопросам, но ни одно из них не развито с достаточной полнотой. Многие лишь намечены, и часто автор скорее ставит проблемы, чем их решает. Помимо того, объединение всех этих исторических явлений под общим понятием «революции» едва ли может способствовать дальнейшему уяснению этого, как известно, спорного термина. В прошлой книжке «Нового журнала» М. В. Вишняк упомянул о том, что в Германии был созван специальный съезд социологов для выяснения «сущности революции». Мне неизвестно, к каким выводам пришли эти социологи, но я давно уже чувствую, что в целях ясности — и независимо от всяких философских

* D. W. Brogan, «The Price of Revolution», 1951.

или социологических соображений — следовало бы ограничить применение термина «революция» к одному вполне конкретному историческому явлению: *насильственному* перевороту, преследующему политические или социальные цели. Под это определение не подойдут, конечно, ни так называемая промышленная революция, ни изменения в международной или духовной жизни человечества, ни даже такие явления, как национальное освобождение или разрушение империй. Все это длительные эволюционные процессы, уже затянувшиеся на несколько столетий и еще далеко не закончившиеся. В них могут быть отдельные драматические моменты, они могут вести к самым радикальным переменам, но это еще не делает их революциями. Во всяком случае они остаются качественно отличными от того метода политических действий, который мы обычно представляем себе, когда говорим о революции. Могут сказать, что это обывательское представление о революции, но в данном случае я считаю, что обыватель прав: для меня это единственное методологически плодотворное применение термина. Иначе стирается грань, отделяющая эволюцию от революции, и мы оказываемся в тех сумерках, в которых все кошки кажутся серыми. Тогда и становятся возможными такие, на мой взгляд, логические абсурды, как придуманная покойным Ласки «революция по соглашению» (*revolution by consent*). Там, где есть соглашение, — нет нужды в революции.

На одной из первых страниц своей книги Бруган упоминает об одном небольшом, но показательном факте: в конце 19-го века были на Западе радикалы, которые в переписке с друзьями подписывались: «Ваш во имя революции». К этому он делает такое замечание: «Человек, который подписывал бы свои письма “Ваш во имя войны”, был бы сочтен за сумасшедшего или за такого патологического милитариста, какого трудно было бы найти даже в Пруссии». Сопоставление, делаемое Бруганом, весьма поучительно. В конце концов, революция тоже есть война, и притом даже худший вид войны — война гражданская. Между тем тогда как война в демократических, либеральных и радикальных кругах обычно подвергалась осуждению, идея революции сохраняла ореол некоторой «респектабельности», а нередко вызывала даже энтузиазм. Бруган видит истоки этой психологии во второй половине 18-го века, когда, по его словам, революция стала своего рода «постоянным учреждением» (*acquired the status of an institution*). Было бы чрезвычайно ценно, если бы какой-нибудь компетентный исследователь истории идей проследил изменение отношения к феномену революции на протяжении веков — насколько я знаю, такой работы в исторической литературе нет. Но и без такого об-

стоятельного исследования достаточно ясно, что положительное отношение к революции есть явление нового или даже новейшего времени. Кажется, его никак нельзя обнаружить ни в классической древности, ни в Средние века. Для античных политических мыслителей и историков революция всегда была злом. Один из самых ярких примеров этого отношения можно найти в тех знаменитых страницах у Фукидида, где он говорит о революционных движениях в различных частях Греции во время Пелопонесской войны, которая и вся в целом представлялась ему как братоубийственная гражданская война. Это — картина распада всех общественных связей и глубокого как политического, так и морального упадка. Такое отношение к революции можно признать господствующим в античной мысли, греческой и римской одинаково. Подобное же отношение господствовало и на протяжении всего средневековья. Даже и в первые столетия Нового времени едва ли можно найти выражение взгляда на революцию как на явление не только неизбежное, но в какой-то мере даже желательное и исторически прогрессивное. Тогда были, как известно, течения, возникшие среди различных религиозных меньшинств, которые оправдывали восстание против установленной власти в тех случаях, когда эта власть нарушала божеские законы. Но не было попыток превратить это оправдание революции в своего рода систему, не было революционного пафоса и революционной романтики. Я готов утверждать, что даже и английская революция начала 17-го века, первая из больших революций Нового времени, не явилась в этом смысле решительным идеологическим или психологическим переломом. Характерно, что в английской историографии ее редко называют революцией — она больше известна под менее привлекательным именем гражданской войны. Про главного ее деятеля Кромвеля можно сказать, что он был и сам ощущал себя революционером поневоле. Он напряженно и даже мучительно искал конституционного решения кризиса — и до начала гражданской войны, и в процессе войны, и после того, как пришел к власти. Несмотря на это, фигура Кромвеля долго оставалась отрицательной в глазах английских историков и политических мыслителей, все равно принадлежали ли они к лагерю тори или вигов. Только во второй половине 19-го века пришла историческая реабилитация Кромвеля и признание его национальных заслуг перед Англией: для этого понадобились блестящее литературное дарование Карлейля и выдающаяся эрудиция Гардинера. Когда же в конце 17 века произошло бескровное изгнание династии Стюартов и современники дали этому событию название «славной революции», то славной в их глазах она была именно потому, что

в сущности совсем не была революцией: связи своей с гражданской войной и с Кромвелем они признавать не хотели.

Броган прав поэтому, когда он относит переломный момент к последним десятилетиям 18-го века (неправ он, по-моему, только в том, что начинает его с американской, а не с французской революции; первая, на мой взгляд, была скорее войной за независимость, чем революцией, и, во всяком случае, не была еще революцией нового типа). Он не задается вопросом о том, что произвело эту идеологическую и психологическую переменную. Я понимаю, что ответить на этот вопрос чрезвычайно трудно и что он тоже подлежит еще тщательному обследованию. Здесь могли сыграть свою роль разнообразные факторы: ускоренный темп технологических изменений с их огромным и непосредственным влиянием на каждодневную жизнь все большего и большего числа людей; рождение оптимистической теории прогресса (тоже явление недавних веков), поставившей знак равенства между новым и лучшим; влияние таких умственных и духовных течений, как рационализм с его «социальной геометрией» или романтизм с его идеализацией всего стихийного; наконец, растущее давление со стороны народных масс с их социальными нуждами и притязаниями.

Как бы то ни было, факт остается фактом: только с французской революции идея революции приобретает, так сказать, нормативный характер, становится предметом веры, источником энтузиазма, лозунгом, знаменем, путеводной звездой. Знаменательно то широко распространенное увлечение революцией, которое, как это показывает Броган, овладело едва ли не большинством выдающихся европейских интеллигентов конца 18-го и начала 19-го веков. А одновременно шло создание мифа о революции, как об обетовании нового и лучшего мира, и в общественных низах — в особенности среди промышленных рабочих. Правда, за волной первоначального энтузиазма довольно скоро пришла волна разочарования. Революция не оправдала и не могла оправдать возлагавшихся на нее преувеличенных надежд (как правильно говорит Броган, никакая революция никогда не исполняет своих обещаний). Броган указывает на ту огромную цену, которую и Франции и всей Европе пришлось заплатить за революцию. Революция привела к войне, ведшейся со стороны Франции сначала под революционным знаменем, а потом под водительством порожденного революцией Наполеона. Это была война, по размаху своему не имевшая подобных в 18-м веке и уже предвещавшая тотальные войны нашего времени. Главная ее тяжесть пала на Францию. Помимо потери двух миллионов человеческих жизней — по тем временам огромная цифра — Франция понесла трудно исчисли-

мый материальный урон, на несколько поколений задержавший ее экономический прогресс. Тяжелые раны, незажившие и до сих пор, были нанесены, по мнению Бругана, и национальной душе Франции: до наших дней воспоминания о терроре все еще «искупают французскую историю и питают французские страсти».

Тем не менее миф о революции продолжал существовать: наверху — в писаниях историков и в творчестве поэтов, внизу (особенно во Франции) — в разных подпольных организациях радикального характера. В 1848 г. произошло кратковременное, но необычайно бурное и яркое возрождение революционной веры. Эта эмоциональная насыщенность революции 1848 г. была в значительной мере усилена притоком того современного национализма, который и сам был порождением французской революции 18 века. В той же раскаленной атмосфере 1840-х годов родился, как мы знаем, и революционный марксизм. Поражение, которое потерпела революция 1848 г., нанесло тяжелый удар революционной вере и мифу о революции. Европа вступила в длительный, растянувшийся почти на 70 лет, период мирного эволюционного развития. Бруган прав, когда он говорит, что в момент своего появления Коммунистический манифест был «столь же утопичен, как любая мысль Оуэна или Фурье». В то время нигде, кроме Англии, не было того пролетариата, который мог бы выполнить возложенную на него Марксом историческую задачу. А как раз в эти самые годы, с провалом чартизма, английские рабочие изживали свои последние революционные иллюзии. Выросший впоследствии английский социализм, по признанию одного из его участников, питался в большей мере религиозными идеями методистов, чем учением Маркса*. В иных формах и в ином духе, но по существу такое же перерождение революционного социализма произошло и на всем европейском континенте. Даже Парижская коммуна, оставшаяся изолированным драматическим эпизодом, не сумела нарушить общего единообразия этой мирной картины.

Только через много десятилетий, и притом, как утверждает Бруган, «внезапно и неожиданно», пришел «свет с Востока». Бруган высказывает очень интересную мысль о коренном раз-

* В какой мере это утверждение о религиозных элементах в идеологии английских лабористов сохраняет силу и для нашего времени, видно из недавнего заявления Кроссмана, одного из теоретиков *левого* крыла партии: «Как эволюционная, так и революционная философия прогресса обе оказались ложными. В свете фактов гораздо более убедительна христианская доктрина первородного греха, чем фантазирование Руссо о “благородном дикаре” или мечта Маркса о бесклассовом обществе». Под этим, пожалуй, мог подписаться и Достоевский!

личии в психологической реакции западного мира на две революции — французскую и русскую. Французская революция родилась в период надежд, оптимизма, ожиданий золотого века. Русская революция родилась в дни усталости, страха и разочарования, вызванных войной. Вот почему сильнейшим импульсом в той атмосфере сочувствия, которую создала на Западе русская революция, была надежда на возможность скорого мира. В первоначальной своей стадии шедшая из России зараза была, прежде всего, заразой пацифизма. Конечно, очень скоро, сейчас же после окончания войны, к этому присоединился и другой момент: широко разлившееся по всей Европе социальное недовольство. Но ведь и оно явилось непосредственным результатом войны — тех, тогда еще беспримерных, потрясений в экономической и социальной жизни народов Европы, которые эта война произвела.

Тем не менее как ни сильны были факторы, питавшие иллюзии насчет благодетельности русской революции, с 1920 г., как правильно указывает Бруган, шансы на социальную революцию на Западе были почти что сведены на нет. При всех благоприятных для них условиях и при всем динамизме собственных их усилий большевикам не удалось завоевать массовую поддержку в западных странах. Более того, у них появился там неожиданный соперник. Бруган перечисляет несколько уроков, которые Муссолини и Гитлер получили от Ленина: 1) в государстве, предварительно ослабленном агитацией, актами насилия и различными внутренними кризисами, власть может быть захвачена небольшим организованным меньшинством; 2) захватив власть, это меньшинство может держать ее в своих руках до тех пор, пока оно остается достаточно объединенным и пока оно не ослаблено разложением в армии или поражением во внешней войне — согласие со стороны управляемых оказывается более ненужным. И еще один, более общий урок: оказалось, что среднего человека можно гораздо легче убедить отказаться от политической свободы в обмен на другие, реальные или мифические, блага, чем это обычно представлялось раньше.

Бруган не говорит о том, что в исторической перспективе фашизм оказался не столько соперником, сколько пособником русского коммунизма. Кто, как не Гитлер, открыл Сталину дорогу в Европу? Именно фашизм создал в самом центре Европы атмосферу гражданской войны, а затем руками Гитлера вверг весь западный мир в войну, разросшуюся до мировых масштабов. «Порочный круг» исторических событий, казалось бы, очерчен достаточно ясно: не будь Первой мировой войны, не было бы большевизма в России; не будь большевизма, не было бы национал-социализма в Германии, а не будь последнего, не было бы Второй

мировой войны. Все, что мир пережил за последние десятилетия, есть выплачиваемая человечеством цена войны и цена революции. О цене, которую пришлось выплатить русскому народу, в статье, обращенной к русским читателям, распространяться как будто не приходится.

Комментарии. 2. Еще о «цене революции»

В предыдущих своих комментариях я писал о книге английского историка Брогана, посвященной вопросу о «цене революции». Мне хочется вернуться к этому вопросу в связи с некоторыми откликами, вызванными моей статьей, и, прежде всего, в связи с отзывом о 29-й книге «Нового журнала», появившемся в № 4 «Литературного современника» за подписью Юрия Большухина. Рецензент этот пишет между прочим следующее: «...понятие революции все же не равнозначно всенародному бедствию... народ, заплативший страшную цену за большевистский октябрь, возможно, заплатит недешево и за свободу, — но тогда он не останется в убытке!» Замечание вполне естественное и вынуждающее меня уточнить свою точку зрения. Прежде всего, хочу отметить, что Броган не отрицает возможности таких случаев, когда революция становится неизбежной. Его нападение направлено на ту психологию, при которой революция рассматривается как «нормальное средство и благожелательная панацея», а не как «последняя и отчаянная попытка» найти выход из положения. За этой психологией он правильно видит неспособность понять, «с какой трудностью был достигнут тот уровень порядка, свободы и достойных условий жизни, который мы сейчас защищаем и который так легко потерять». Его рассуждения по этому поводу очень напоминают знаменитые письма Герцена «К старому товарищу» (Бакунину), где Герцен заявлял, что не верит больше в революционные пути и старается «понять шаг людской в былом и настоящем для того, чтобы знать, как идти с ним в ногу». Конкретно это значит — не взывать к революции, пока эволюционные шансы имеются налицо, пока для революции нет последней крайней необходимости.

Можно поэтому, идя в данном случае за Лениным, который делал такое же различие между войнами, говорить о революциях «законных» и «незаконных». То обстоятельство, что, как утверждал недавно М. В. Вишняк*, все подлинные революции случаются

* См. его статью в кн. 30-й «Нового журнала»¹.